



В. ЛЬВОВ-РОГАЧЕВСКИЙ

Поворотное время

Продолжительное несоответствие добрых и злых течений нашей жизни разразилось тою ужаснейшей истерикой, которая надолго пришибла все русское общество. Люди, по тем или иным причинам устоявшие или устранившиеся от истерической эпидемии, стали понемногу разъединяться друг от друга, стали подумывать чаще, чем прежде о хлебе насущном и о тихом пристанище.

Г. И. Успенский (по поводу постановки драмы А. П. Чехова «Иванов»)

Не знаю, под влиянием ли болезни или начавшейся перемены мировоззрения мною изо дня в день овладевала страстная, раздражающая жажда обыкновенной, обывательской жизни.

А. П. Чехов. Рассказ неизвестного человека

...Ни одного не только разумного, а хоть сколько-нибудь интересного слова. Право, какое-то одичание.

В. Гаршин (из письма к Латкину в 1883 г. 23 дек.)

Мы тоже, как и восьмидесятники, пережили свою истерическую эпидемию после исторических дней, пережили то поворотное время, когда на смену единению, порыву и жажде подвига пришли уединение, порыв и жажда обыкновенной, обывательской жизни.

Это были дни мертвой точки, мертвой петли, мертвых слов и «мертвенно-бледного состояния». Не воскресение, а «мертвец в брачных одеждах» — Елеазар становился символом этой страшной полосы, когда самыми живыми, сильными и яркими произведениями явились: «Семь повешенных» Леонида Андреева, «Не могу молчать» Л. Н. Толстого и «Бытовое явление» В. Г. Короленко.

И подобно тому как в восьмидесятые годы Г. И. Успенский заговорил о «параличе души», так наши писатели возвестили «крах души», «роковую убыль души», «конец энтузиазма».

Самая торопливость, с которой провозглашали «конец Горького», говорила о горячем желании покончить с недавним энтузиазмом, с горьковским настроением. От восторга победы и красного романтизма перешли к «последнему ужасу», «последней заповеди» и «последней черте», перешли к черному романтизму.

То, что в 80-е годы было мелко, трусливо и тускло, то теперь выступило открыто и пышно расцвело на фоне гапоновщины и азефщины. В литературе видное место отводят Иуде, тому единственному человеку, которому не хочет дать прощенья Щедрин в «Христову ночь», когда над всем миром проносится негодующий крик: «Предатель! Будь проклят!»

Поэт А. Рославлев слагает восторженный гимн Иуде:

Пусть гнусы о предательстве кричат!
Их мысли тупы, на сердцах их плесень,
Постичь ли им твой царственный закат*.

Поэт и беллетрист Алексей Ремизов готов с наслаждением внимать

Лобзанью из верных верного Иуды**.

Леонид Андреев создает свое, едва ли не самое страшное и едва ли не лучшее произведение «Иуда из Кариота».

Начинается апология тьмы и зла, а наряду с этим на улицу нагишом выходит «откровенный мерзавец» и в литературе выступает на первый план какое-то трактирное восхваление Диониса. В эти годы Сологуб называет дьявола отцом и говорит: «Хулу над миром я прославлю и, соблазняя, соблазню».

Вся эта переоценка ценностей совершается на наших глазах. И можно ее проследить на творчестве многих художников.

* Рославлев Александр. В башне, изд. Еос («Иуде», с. 27).

** Ремизов Алексей. Рассказы-поэмы, изд. Еос, с. 310.

3 ноября 1905 года пишет Леонид Андреев свою драму «К звездам», где наряду с ученым, сыном вечности, который идет «к звездам», выдвигает революционеров — рабочего Трейча и Марию, готовых зажечь солнце, «если оно погаснет».

Иногда кажется, что фигуры Трейча и Марии написаны не Леонидом Андреевым, а Максимом Горьким, но уже слышатся в конце этой драмы нотки не красного, а черного романтизма. Когда товарищ Марии, Николай, попал в каменный мешок, был там избит и сошел с ума, Мария в момент отчаяния говорит, что построит «город, куда соберет всех уродов, калек, убийц, и царем этого города сделает Иуду».

Мы знаем, что Мария страхнула с себя этот кошмар, зато Леонид Андреев стал осуществлять черную мечту Марии. Он стал строить город смерти и зла. Собрал туда всех уродов, калек, убийц, и царем сделал Иуду. «Некто в сером», «Черные маски», корабль «на черных парусах» отбросили на творчество писателя свою черную тень.

Художника преследует «тьма» по пятам. Последние слова анархиста Саввы: «Тьма идет». Красноречивый монолог революционера-бомбиста из рассказа «Тьма» (1907 г.) сводится к формуле «если нашим фонариком не можем осветить всю тьму, так погасим же огни и все полезем во тьму». На собрании хулиганов в трагедии Леонида Андреева «Царь Голод» главный герой призывает подонков, этот яд и мрак современности, к бунту: «Великий мрак идет от вас, дети мои, и безнадежно трепещут во мраке их желтые огни... А пока — выползайте понемногу из ваших нор. Черными и тенями легко крадучись среди народа, — насилуйте, убивайте, крадите и смейтесь, смейтесь! Уже легко стало дышать, уже пахнет гарью и свободнее выходит на улицу зверь — близится ночь».

Леонид Андреев становится художником ночи, важнейшие переживания его героев происходят ночью, его главные герои: Керженцев, Иуда, Анатема — ночные души, его самая яркая мысль «стыдно быть хорошим» родилась во мраке ночи, во мраке отчаяния.

К этому пришел художник, который в своей автобиографии * признает огромное влияние М. Горького на свое творчество, художник, у которого в 1905 году революционеры говорят о защитниках обывательщины: «Если бы солнце висело ниже, они погасили бы солнце, чтобы издохнуть во мраке» («К звездам»).

* Фидлер. Первые литературные шаги. 1911.

Этот переход от красного к черному можно наблюдать и в произведениях М. Арцыбашева. Гаснет прежняя солнечность, потускнел «золотой налет», уже не дрожит и не струится «золотая дымка», блекнет и вянет «Зеленый сад» с его зеленой прохладой. Наумов восстал против «суеверия жизни», художник с ненавистью, «с судорогой отвращения на лице» без конца повторяет свою излюбленную формулу: «Человек от природы подл», «противная штука человек», «с брезгливым видом» рисует «чижей», «соловейчиков», «революционеров с ястребиным лицом». Его творчеством завладели «черная яма», «черная дыра», «черно-огненный кошмар», «черная комната».

«Теперь, по-моему, поворотное время настало, — говорит студент Андреев в рассказе М. Арцыбашева «Тени утра» (1905 г.), обращаясь к людям героического порыва. — Пройдет десять, двадцать лет, и вас будут, как уродцев, рассматривать. Как это, мол, могли жить такие несамостоятельные, робкие, трусливые людишки» (II—183).

Для того чтобы построить злой город, населенный калеками и уродами, потребовалось разрушить прежний город, развенчивать героев и увенчать уродов. Если переворот превратил даже некоторых из декадентов в революционеров «на час», то поворот кой-кого из революционеров превратил в декадентов, в героев пола, в героев тьмы и мертвой полосы.

Поворот создал неслыханный успех сборника «Вехи», оплевывавшего революционную интеллигенцию.

Поворот породил такие документы революционного отчаяния, как «Конь бледный» Ропшина («Русская Мысль» 1909 г., кн. I), «Мертвая зыбь» г. О. Миртова («Русская Мысль» 1909 г.), породил такие произведения, как драма Гиппиус, Мережковского и Филофова «Маков цвет» («Русская Мысль» 1907 г., кн. XI) и рукоделье Зинаиды Гиппиус «Чертova кукла», только что законченное в той же «Русской Мысли».

Журнал П. Струве, Н. Бердяева, Булгакова, Изгоева стал «собирателем» всех этих «документов» и обличительно-проповеднических произведений. Это был крестовый поход против «господства детей», по выражению Булгакова, против героического порыва и самоотверженной борьбы.

С одной стороны, обвинители — П. Б. Струве, Булгаков, Изгоев, бывшие марксисты, с другой стороны — Ропшин, О. Миртов, Винниченко, Р. Шенталь* — свидетели и сами прошедшие через тюрьму, ссылку и эмиграцию.

* Винниченко. Честность в себе. V сборник «Земля»; Шенталь Р. Виктор Стойницкий // Вестник Европы. 1911, кн. I—II, апрель.

Семь смиренных прокуроров из «Вех» вручили революционной интеллигенции свой обвинительный акт, а Ропшины, Миртовы и Винниченко поспешили от лица обвиняемого, которому рот зажат, сказать свое покаянное: «Да, виновен».

И судьи, и свидетели послужили делу мещанства и обывательщины, делу разъединения и одичания.

Травля передовой интеллигенции, суд над нею были начаты справа. Наиболее ярко сказалось отношение к ней в проповеди давно уже покаявшегося и смиренного Антония Волынского, произнесенной 20 февраля 1905 года в Исаакиевском соборе. Проповедник предавал всероссийской анафеме тех, кто дышит «себялюбием, ненавистью и злорадством» и кто хочет оторвать народ от заботы о вечной жизни.

Через четыре года Антоний Волынский мог «с восторгом приветствовать» авторов «Вех», которые продолжили его дело.

Как-то Ф. М. Достоевский назвал В. Белинского «тупым, смрадным явлением русской жизни»; теперь сотрудники «Вех», вышедшие из «дневника» Ф. Достоевского, из его знаменитой речи на пушкинских торжествах, призывавшей русского человека к смирению, из «переписки» Н. Гоголя, выдвинули обвинение во всех семи смертных грехах — «безличии», «безмыслии», «бессемейности», «беспочвенности», «безрелигиозности» и т. д., и т. д. против всей революционной демократической интеллигенции. От этих всевозможных «без» нетрудно было перейти к «Бесам» Ф. Достоевского.

Когда-то Ф. М. Достоевский был привлечен по делу Петрашевского, был приговорен к смертной казни и даже пережил страшные пять минут. Впоследствии он написал своих «Бесов», обобщив «нечаевское дело», несмотря на то, что товарищи Нечаева единодушно заклеили «нечаевщину».

Теперь ученики автора «Бесов» идут тем же путем. Снова воскресли «Бесы» Достоевского и снова уверяют нас, что «легион бесов вошел в гигантское тело России и сотрясает его в конвульсиях, мучит и калечит» («Вехи», изд. 2, с. 68).

Молодежь охраняют и спасают от «тирании гражданственности», от «гипноза общественности», от ее «принудительной монополии».

Если Антоний Волынский призывал к «смирненному самоосуждению», то семь смиренных сотрудников «Вех» призывают одержимую интеллигенцию к «спасительному покаянию». Интеллигенту-герою противопоставили христианина-подвижника.

Задача покаявшегося и смирившегося героя заключается в том, чтобы от жизни вне себя уйти внутрь себя, от религии служения земным нуждам перейти к религии служения идеальным ценностям, от космополитизма обратиться к народности, к национальному лицу, к «Великой России», ко всем трем китам.

Проповедь личного самоусовершенствования переплетается с мечтой о «мудром мещанстве Европы». Эта «похвала мещанству» в статьях Галичей, Лурье и П. Струве, эта жажда «годного» человека, не героя, а дельца, практика показывала, кто они — эти судьи, так много певшие о душе и огне.

В 1909 году в первой книжке «Русской Мысли» была напечатана интересная статья П. Струве, в которой этот враг героически настроенной интеллигенции проповедовал «религиозное отношение к производительному процессу». Указывая, что Эртель должен был отказаться от литературы для сельского хозяйства, Струве писал: «То, что Эртель делал, было важнее и значительнее не только его литературной деятельности, но и всей литературы вообще. Сажать капусту важнее, чем писать книги, и важнее не в утилитарно-житейском, но именно в религиозном смысле. Из-под овечьей шкуры покаяния и смирения выступают слишком явно волчьи зубы “производительного процесса”». Мудрые мещане начинают бредить Бисмарком и мечтать о порядке и твердой власти, Изгоев мечтает о том, чтобы «появился, наконец, у нас с вой Бисмарк и вывел Россию из поглощающей ее смуты».

Гершензон из «Вех» обнаруживает страх перед народом и благоговение перед властью. «Каковы мы есть, — читаем мы в «Вехах», — нам не только нельзя мечтать о слиянии с народом, бояться его мы должны пуще всех козней власти и благословлять эту власть, которая одна своими штыками и тюрьмами нас спасет от ярости народа». Договорились!

Эти слова перепуга и коленопреклонения могли бы послужить хорошим эпиграфом к напугавшей книгу казацкого подъяесаула Родионова «Наше преступление», к книге, очернившей народ и выдвинувшей против «ярости народа» смирительную рубашку.

Этот страх перед смутой и яростью народа идет рука об руку с ненавистью против «героев» и с мечтой о Бисмарке.

Все это свидетельство о рождении новой группы интеллигенции с новым нутром и новой идеологией.

При советах съездов промышленников, горнопромышленников, нефтепромышленников, на службе у «производительного процесса», под охраной своего «Бисмарка», «на выучке у капи-

тализма» вырабатывалось это новое нутро нового третьего элемента. Недаром П. Струве весьма недвусмысленно отделяет «образованную часть общества», всевозможных «годных людей» от «социалистической интеллигенции». Впрочем, он выражает надежду, на основании личного опыта, что она «о б у р ж у а з и т с я» в силу процесса социального приспособления». «Вехисты» — блестящий пример такого приспособления. Только зачем они все призывают религию? Ведь во всех статьях «вехистов» и, конечно, в публицистике «Русской Мысли», проклявших политику во имя религии, так и разит запахом капусты, так и вытирает мечта о среднем сословии и о твердой власти.

Мудрое мещанство Европы, к которому так и льнут бывшие легальные марксисты, могло бы сказать лидеру бывших — П. Струве то же, что некогда Катюша Маслова сказала Нехлюдову: «Ты мною спастись хочешь!»

Когда в 80-е годы, после 1 марта, расцвели абрамовщина, толстовство, когда посыпались обвинения против героев и «лучших людей» с их «широкими задачами» и проклятыми вопросами, когда началась проповедь «среднего человека», «энергичной личности», на защиту общественности и «великого дела любви» выступили Успенский, Н. В. Шелгунов и Щедрин, осмеявший «среднего человека». Никогда не забудутся его Изуверовы и обыватели-к у к л ы, эти и г р у ш е ч н ы х д е л людишки в руках всемогущего Изуверова.

«Очерки русской жизни» Шелгунова не мешало бы напомнить заклятым врагам революционной интеллигенции.

Много раз констатировал Н. В. Шелгунов, что для интеллигенции наступила печальная пора, когда ее травят со всех сторон. Неверную оценку деятельности интеллигенции объяснял он тем, что большинство хотело мерить ее дела личным и моральным аршином, что рост и з м е р я л и п р о и з в о л ь н о й с а ж е н ь ю, а н е б а р ь е р о м, который приходилось перескакивать, измеряли силы, а не препятствия.

Нападки на интеллигенцию автор «Очерков» объяснял разочарованиями и неудачами. «Когда сады Семирамиды не появились, мы же превратились в обвинителей» (III—338), — обращался он к обвинителям и судьям и спрашивал их: «Что за странная вещь: тысячу лет мы работали, чтобы создать себе интеллигенцию, а когда она явилась, мы ее п р о к л я л и».

Шаг за шагом разбивал Н. В. Шелгунов положительную программу восьмидесятника и зло смеялся над попытками вставить «н о в о е н у т р о».

В 1891 году в апрельской книжке «Русской Мысли» появилась последняя статья Н. В. Шелгунова. С тех пор прошло 20 лет, и в той же «Русской Мысли» уже подвизаются Леониды Галичи, Лурье, Изгоевы — люди с «новым нутром» и пишут о новом нутре; в той же «Русской Мысли» проклинают революционную интеллигенцию, отдавшую жизнь на самоотверженную борьбу с препятствиями и барьерами, в той же «Русской Мысли» Изгоев-Меньшиков пишет позорнейшие страницы в защиту профес-соров и всячески старается очернить пробуждение молодежи.

Наряду с людьми «нового нутра» выступили кающиеся революционеры, уставшие и разочарованные обличители и друзья их, предлагающие им, как Зинаида Гиппиус, построить вместо «красного домика» новый, «свой дом».

Их много, их общая черта: отказ от прошлого, резкая, беспощадная критика, направленная против «героев», «постоянных», «лучших людей», и жажда обыкновенной, обывательской жизни. Они видят только черное, только тьму и только «темную личность». «Тень Азефа» заслонила для них весь мир. С необычным рвением они выискивают грехи и пороки вчерашней светлой личности. Они все, все припомнили! Они ничего не простят. Они слово «герой» давно уже пишут с усмешкой и уж, конечно, в кавычках.

На «том берегу» тысячи эмигрантов ведут голодную, нищенскую жизнь, в «местах не столь отдаленных» и в каменных мешках чиновники на муках жертв делают карьеру — этого судьи и обличители не замечают.

Они пришли судить!

Не замечают они и того, как замуравленный, отрезанный от мира борец убивает себя, чтобы не видеть позора и унижения товарищей и не подчиниться варварскому надругательству; не замечают, как немногие идут на казнь и в каторгу с гордыми сердцами и мужественными лицами; не замечают, что среди повального бегства, покаяния и обличения немногие стойкие остаются на своем посту.

Они видят только темное, они судят!

Этим судьям хочется сказать прекрасными словами Каржинского, посвятившего книгу «Париж» * страшной жизни эмигрантов:

* Знание, 1911, кн. XXXIV, с. 86.

«Почти все верно, а между тем, не то, и не то... как-то выходит у вас однобоко и потому несправедливо. Да, несправедливо!..

...Они были честными воинами, но поле осталось не за ними, и немногие оставшиеся еще не собрались с силами. И, конечно, те, победившие, глумятся. Но вы-то, вы зачем им вторите — хоть на минутку?»

Однобоко и несправедливо повествуют господу Ропшина и Винниченко, О. Миртовы и Р. Шенталь о недавнем прошлом. Они часто вторят «вехистам». Они не воспроизводят, а резвенчивают, не рассказывают, а обвиняют — проявляя беспощадную суровость к «настоящему человеку» и необыкновенную любовную мягкость к обывателю. Каждой строкой они повторяют слова грибоедовского Платона Михайловича: «Теперь уж я не тот. Теперь уж я не тот!»

Верные и важные указания на недостатки подпольного человека потеряли свое значение в их произведениях благодаря тенденциозному пессимизму, благодаря выискиванию только черного, только пятен. То, что написали упомянутые авторы, ценно для характеристики самих авторов, разочарованных и утомленных.

Перед нами не столько художественные произведения, сколько документы разъединения и одичания.

По унылому полю русской жизни, усеянному мертвыми костями павших борцов, медленно едет всадник на «Бледном коне», ему же имя — Смерть, и всюду, где ступает этот конь, там «вянет трава», и всюду, где волновалась и кипела жизнь, там показывают вам «Мертвую зыбь», мертвую жизнь и мертвое лицо.

Боевая организация у Ропшина, ссылка у О. Миртова, организация социал-демократическая у Винниченко, люди с прошлым у Р. Шенталь очерчены самыми мрачными красками. То же можно сказать и о той организации, которую с чужих слов и по стопам Ропшина описывает Зинаида Гиппиус в своей не сочиненной, а «с о с т а в л е н н о й» повести «Чертова кукла». Зинаида Гиппиус, с ее проповедью нового религиозного сознания, приходит чужую беду руками развести, приходит со стороны, она «жнет, где не сеяла», но критика этой писательницы, совершенно не знающей революционного быта, мало отличается от обвинений писателей-свидетелей.

Когда присмотришься ко всем этим боевикам, политическим, ссыльным в литературной «обработке», невольно вспомнишь заявления «вехистов» о том, что девять десятых среди представителей передовой интеллигенции «поражены неврастенией», а когда в романе Винниченко познакомишься с рабочим Тарасом

и главой организации, интеллигентом Ионой, вспомнишь милое утверждение Изгоева, что «среди революционной молодежи 75% онанистов». Если раньше глаза художника поворотного времени видели только красное и светлое и каждого деятеля они спешили канонизировать, то теперь эти глаза хотят видеть только черное и скверное, и в каждом деятеле они готовы видеть что-то отвратительное и преступное.

У г. Винниченко почти вся организация состоит из негодяев, дураков и пошляков, как на подбор — один другого хуже. Где они их выискали!?

Безвольные неврастеники Генрих и Эрн у Ропшина, неврастеник, бросившийся под поезд, Виктор Стойницкий у г. Р. Шенталь — вот эти «лучшие люди»... И сколько их! Тарас постоянно переходит от полного изнеможения или «ваты» к буйным безумным вспышкам. «Тряпочный» Кнорр, неврастеник с потерянными глазами — орудие в руках провокатора Якова («Чертова кукла») — почти в состоянии безумия совершает убийство. Истериичка Катя — эта злючка бросается на Силина с кулаками, а потом бежит за ним, подавленная и виноватая («Мертвая зыбь»).

«Разве здесь товарищи!» — кричит с перекошенным от злобы лицом на собрании ссыльных эта самая Катя, лучшая из всех.

«Вот они наши герои!» — восклицает негодяй и развратник Силин, обративший жизнь в «развлечение».

«Ах, вы учителя правды!..» — неистовствует Тарас, когда-то боготворивший труса и клеветника Кита («Честность с собой», 131).

Генеральство, мелкое честолюбие, сплетни, трусливое лицемерие, мещанское нутро и социалистическое сознание, тряпичность, злоба — вот доблести «героев», на которые дружно указывают все перечисленные авторы. Можно подумать, что они никогда не видели иных людей — апостольски-чистых, мужественно-прекрасных, стыдящихся фразы, презирающих ложь и непримиримых врагов насилия.

Вы посмотрите, чем живы «герои» писателей-обличителей: у Ропшина группа боевиков живет смертью, убийством, но разве мы не знаем, что у Софьи Перовской была иная жизнь, да и не у нее одной.

У г. О. Миртова ссыльные «медленно съедают друг друга». Здесь властвуют честолюбцы Сомовы и специалисты по части затравливания Козловы; здесь нет ни тени свободного мнения; здесь люди «тоскуют в своих пресных социалистических идеях» (32). Мы не знаем, о какой ссылке пишет г. О. Миртов, уж не

о тех ли местах, где солнце — редкий гость и где люди тоскуют от того, что оторваны от идей и от людей?

У всех авторов, вышедших из поворотного времени, лучшие, наиболее яркие и наиболее даровитые люди рвут с прошлым и бегут из организации, бегут от «пресных социалистических идей». Но страшны эти уходящие и ушедшие люди.

У Ропшина во главе организации стоит человек, который никого не любит, «даже себя», и готов «плевать на весь мир». Жорж издевается над всем и над всеми. Он, как извозчик Тихон, «б а л у е т» и бьет «всех вожжей по глазам». Он не знает, «б а л а г а н или жизнь», «клюквенный сок или кровь», он — человек «б е з з а к о н а», без любви, без веры, без жалости. Он идет на убийство, рискуя жизнью, которой не дорожит. Сегодня он убивает из ненависти к рабству, завтра — из ревности, а потом убивает себя от скуки, оттого, что ему, революционному Пьерро, надоело его «ремесло», надоели люди-«марионетки». Он убивает себя, чтобы уйти навсегда. Он не боится Смердякова и «смердяковщины», он живет и умирает, как Смердяков. От Жоржа до Азефа — только один шаг!

«Чертова кукла» З. Гиппиус — это «Конь бледный» Ропшина, но конь обвезженный и приученный ходить под седлом. На этом коне вместо смерти совершает свои разъезды черт на посылках у Зинаиды Гиппиус. «Люди-марионетки» у Ропшина — «чертовы куклы» у Гиппиус. Только г-жа Гиппиус подчеркивает кукольный характер своих героев, нарочно упрощает, стилизует.

Жоржу Ропшина опротивели жизнь-балаган и «люди-марионетки». Жоржу или Юрию — «Чертовой кукле» чужды члены организации. Он тоже убежден, что в жизни «никакого смысла нет», но твердо знает, что этот смысл ему «не нужен»*. Для него жизнь — это «игра в рулетку». Он живет-играет, но его игра более невинна, чем «б а л о в с т в о» Жоржа, гарцующего на «бледном коне».

Он «сознательно пожелал себе счастья». Он любит жизнь, потому что «такое в ней разнообразие игр». Он любит себя, но и другому желает причинить только minimum вреда. Он живет «без заботы о других, без искания смысла жизни, без любви, без особенного страха» (65). Его все радует, радует и он сам, «веселый студент, п р о с т о й с р е д н и й ч е л о в е к, так просто и свободно живущий». Он идет в «о т к р ы т у ю», он о т к р ы

* Русская Мысль, 1911, № 2, с. 63 («Чертова кукла». Зинаида Гиппиус. I, II, III).

т о заботится только о себе. Он охотно берет деньги у проститутки, как и Силин в романе «Мертвая зыбь», он зачем-то завязывает роман с горничной, о которой забывает и которая становится матерью.

Юрий, как и Жорж, — сын случая. Случайно попадает он в тюрьму, а затем, после тюрьмы, случайно попадает под нож убийцы Кнорра в «Красном домике».

Антипод Юрия — Михаил с голубыми глазами, продолжительное время оставался «пленником долга» и работал с Яковами и Кноррами; теперь он уйдет тоже, уйдет не в «игру», не в «баловство», не в «развлечения». Он уйдет из «Красного домика», где и «хорошее приводит к плохому», к своим новым друзьям, основавшим «троебратство». У одного из этих трех святителей когда-то рабочие убили брата, когда тот хотел устроить на заводе все «по-хорошему». Бывший революционер ушел искать жизни «по-Божьему».

Трое друзей Михаила не стыдятся жить по-другому, у них «сердце в работе». Один из них говорит: «Не рассуждением, а тяжким опытом, сознанием вины, с болью пришли они к тому, что надо узнавать свои времена, что много еще должно совершить сначала, и только потом, только потом! Из хороших, тихих дел хороших людей будет выходить только хорошее» (III—54).

Михаил, сестра Юрия Литта, их друзья, трое хороших людей — пока еще на перепутьи, пока еще на вокзале, но они порвали уже с «Красным домиком», где остались Яков и Кнорр. Они хотят строить с в о й дом. Разумеется, строить... по чертежам Зинаиды Гиппиус, Мережковского и Философова.

Юрий Двоеруков жил-играл, Михаил будет жить и заниматься богоискательством, оба они перестали жить «вне себя», ушли в личную жизнь. Юрий стал «Чертовой куклой», а Михаил будет Божьим человеком и займется т и х и м и делами...

Вы помните чеховский «Рассказ неизвестного человека», рассказ о том, как нелегальный террорист, уставший и больной, стал замечать огромную перемену в своем настроении и мировоззрении?

Им овладевала «изо дня в день» «страстная, раздражающая жажда обыкновенной, обывательской жизни». Ему хотелось «душевного покоя, здоровья, хорошего воздуха, сытости».

Подобную же фигуру рисовал в 1901 году Вересаев в лице Токарева, оказавшегося «На повороте» и перешедшего от «марксизма к идеализму», от жизни-подвига к жизни-обывательщине.

К этой обыкновенной обывательской жизни, «тихим делам» и «маленьким делам» зовут судьи и обличители в наше поворотное время.

Вчерашние деятели не просто становятся дельцами, обывателями, «маленькими людьми», а борятся за обывательщину, они — идейные обыватели, обыватели убежденные. Их идеал — это стать наряду с обывателем прирожденным.

Обыватель Карпыч в романе «Мертвая зыбь» неизмеримо выше тех людей, перед которыми он благоговейно преклоняется. Обыватели Елена и ее муж-офицер неизмеримо свободнее, красивее и лучше террориста Жоржа в повести Ропшина; жизнерадостные Лиза и ее подруги — яркие, красивые и жадные до жизни, до впечатлений бытия; толстый адвокат-карьерист, обыватель, прилепившийся душой к вещам, — все они пришли оттенить мертвенность и никчемность вчерашнего героя*.

Виктор Стойницкий бросается под поезд только потому, что у него не хватило героизма быть не героем-обывателем, он п р и т в о р я л с я обывателем, а душою жил в прошлом. «Будем, как обыватели» — вот новый девиз, новое откровение слишком откровенной повести г. Р. Шенталь.

Виктор Стойницкий, бывший революционер, вернулся из Парижа на родину с горячим желанием стать «рыцарем без доспехов и девизов». Он говорит своим знакомым: «Я делаюсь маленьким, обыкновенным врачом, и все желания, все мечты о большем оставляю в стороне». «Всю жизнь я выходил из ряда вон — теперь же хочу стать в ряд со всеми».

Девиз этого человека — жить «без девизов», и з о д н я в д е н ь. Он понял, что «только в пошлой обывательщине можно найти успокоение»**. Он хочет «войти в жизнь смиренно, без больших требований, без широких задач, без далеких идеалов»***. Как это похоже на гордое заявление восьмидесятника: «Наше время не время широких задач!»

Трагедия Виктора в том, что он уже мертв и не может стать маленьким человеком, как не может остаться крупным деятелем. Но зато Вера, уходящая с адвокатом-карьеристом, Лиза, которая ходит-танцует, курсистки, которые ищут в науке только «полезных сведений» и не любят нашу беллетристику с ее

* См.: Шенталь Р. Виктор Стойницкий // Вестник Европы, 1911, кн. I, II.

** Вестник Европы, кн. II, с. 193.

*** Там же, с. 194.

«мировыми проблемами», — эти уже п р и с п о с о б и л и с ь, они уже «настоящие обыватели», убежденные, искренние и последовательные. Они творят с е б я, они хотят дела, они покончили с «красным домиком» и «домиком на Волге», у них будет, как у одного из мещан Зола, «свой маленький домик».

Беспощадная критика бывших деятелей явилась только переходом к оправданию обывательщины, к признанию, что выгорело прежнее нутро и остался пепел.

Вместо того чтобы расширить стены «красного домика», воспользовавшись всеми завоеваниями 1905 года, и начать новый период, они ушли, они легли костями у барьера, они не вынесли борьбы с препятствиями, они ушли и прокляли свое яркое прошлое, растоптав «портрет своей молодости». Это уход-бегство, уход в футляр, в скорлупу, в личные дела. Великое дело любви они променяли на малые дела, они прокляли свою «Ганнибалову клятву» и отказались от очередной задачи. Они ушли без щита и без девиза, и новая жизнь идет мимо них.

Проповедники обыкновенной, обывательской жизни много разглагольствуют о «солнечной, яркой» жизни, хотят быть веселыми и радостными; но их веселье, их смех сквозь скуку ничего не имеет общего с восторгом поколения девяностых годов, поколения радостных борцов-буревестников. Пусть они прочтут «Исповедь» студента-борца, манежного героя — А. Ш.: там сколько угодно яркости и солнечности, но от этой яркости ваше лицо зажигает краски стыда и негодования.

«Как можно*, — читаете вы в этой исповеди, — студент и вдруг борец!.. Это несовместимо! Студент обязательно должен сеять разумное, честное, вечное...» «Черт побери эти идеалы, раз они нас не кормят, я не хочу их! Я хочу, чтобы у моих стариков была теплая и уютная квартира, и я хочу жить солнечно, ярко!..»

Проповедник солнечной и яркой жизни отличается от манежного борца разве тем, что у него здоровые мускулы, а у них растраченные силы, изжитая душа и какое-то траурное, истерическое веселье.

Что представляет их яркая и солнечная жизнь?

На это пытаются ответить г. Винниченко и г. О. Миртов, но дальше Санина они не пошли. Впрочем, пожалуй, пошли и дальше, если вспомнить, что Юрий Двоекуров и Силин живут на счет проституток, а Мирон занимается профессиональной их

* Синий Журнал, № 3, с. 14.

организацией и громогласно возвещает о своем посещении не «красного домика», а дома с красным фонарем.

Они пошли дальше Санина: тот порвал с революцией, как порвал с самоусовершенствованием, а Мирон считает себя революционером, апостолом новой морали и борцом за свободу.

Санин не любил детей и советовал сестре принять меры, а Мирон мечтает о детеныше и говорит своей сестре-проститутке чичиковски-маниловским тоном: «А то б этакое маленького... А?»

Санин давно уже разжалован автором в Михайловы, а Мирон г. Винниченко пожалован в апостолы новой жизни.

На романе г. Винниченко, который будто бы борется против обывательщины во имя революции, во имя лозунга: «жить и работать» я остановлюсь несколько подробнее, тем более что г. Винниченко по сравнению с г. Р. Шенталь, несомненно, художник талантливый.

Нужно правду сказать, роман «Честность с собой» художественными достоинствами не отличается; это произведение — грубое, примитивное, монотонно-однообразное и в довершение всего эклектическое. Тут и Сонечка Мармеладова (Оля), и Грушенька (Маруся), и крупный разговор проститутки Маруси с братом-революционером, напоминающий целую сцену из «Тьмы» Леонида Андреева, тут рассуждения Тараса, точно навеянные беседами Смердякова с Иваном Карамазовым, и т. д.

Влияние Достоевского — огромное, только автору недостает глубокого психологического анализа. Вместо психологии — смешная и надоедливая возня с усами, бородами и прическами. На каждой странице, а в патетических местах, например в сцене суда над Мироном, особенно часто рассказывается, что делал Мирон со своими усами, вечно непокорными, точно из конского волоса, что делал Сергей с бородой и усами, похожими на солому, свесившуюся с воза.

От улыбок и усмешек тоже буквально нет проходу: у Милона ленивая, небрежная «улыбка», и Мирон вечно «усмехается», «анархисты двусмысленно ухмыляются», Иона «нехорошо засмеялся», Тарас является со «странной, саркастической улыбкой»... Все, все без конца усмеваются, и самый роман превращается в усмешку и непрерывное глумление.

Раздражает вас манера Милона на протяжении 250 страниц ломаться, растягивать слова: «Это не ва-а-жно», раздражает кривляние Маруси-проститутки, которая на многих страницах корчит из себя перед барышнями «благородными» глупую и необразованную и без конца повторяет «мине». Не изобретателен автор!

Г. Винниченко уверят нас, что его Мирон — художник и рисует картину, посвященную рождению из трупа жизни, но картины этой мы так и не видим. Да и на художника Мирон не похож.

Нелепа и смешна эта фигура, когда г. Винниченко усаживает своего Милона, полупьяного, на коврик при сиянии нарочито зажженных разноцветных лампадок, перед бутылками... Это что-то «экзотическое».

У М. Арцыбашева рождается из жизни труп, из Санина — Намов, у г. Винниченко, наоборот, рождается из трупа — жизнь, но от этой новой жизни, яркой и солнечной, и от новой морали г. Винниченко пахнет трупцем, пахнет и обывательщиной. В этой новой морали — та же усмешка и то же ломанье.

Пусть плохи господа Кисельские, помещичьи дети, которые состоят членами организации, живут на деньги мужиков-арендаторов и устраивают стачки, пусть их мораль и их сознание имеют разные корни, они не честны с собой, но чем лучше полунинтеллигент Мирон с его «честностью»? Хороша честность!!

Мирон проповедует «честность с собой» и... грабит помещика Кисельского; Мирон проповедует «честность с собой» и... овладевает нелюбимой женщиной, чтобы доказать ей, что она лицемерна. Все это пошлейшая обывательщина, и не таким путем можно бороться против людей, у которых буржуазное нутро и социалистическое сознание. Прав г. Винниченко, когда говорит о духовном разладе, когда видит людей, у которых «ум с сердцем не в ладу», но зачем он так сузил вопрос и упростил его? Разве у Гамлета и Фауста ум с сердцем — в ладу? Разве «больная совесть» не характерная черта человека, который не стал обывателем и не станет мещанином? А с другой стороны: почему г. Винниченко борьбу сознания и чувства хочет видеть только у помещичьих детей? Противоречия социальные воздействуют на все классы, и трудно найти человека, на психике которого не отразились противоречия современного буржуазного строя.

Возвращение к первобытному состоянию, торжество звериного образа в человеке, «честность с собой» и нечестность с другими, анархическое разрешение с о ц и а л ь н о й проблемы — это не ответ на проклятый вопрос, и напрасно Мирон так самодовольно усмежается и так победоносно крутит свой непокорный ус.

У Милона имеются последователи. Дочь сапожника, Дара, которую, пожалуй, примут за женщину будущего, идет в номер и требует себе мужчину (конечно, на губах ее «усмешка»), чтобы проверить себя, чтобы решить задачу: любит ли она Милона или ее ослепляет неудовлетворенное половое влечение.

Вся сцена с номером никчемна, придумана. Эта сцена — безобразное ломанье. Так мог понимать художник, который не «довел свою мысль до чувства» и просто изложил свою новую мысль на бумаге.

Другой последователь Мирона, Петр, держит пари с членами организации; он обещает к назначенному сроку лишить невинности добродетельную революционерку Веру. В пивной идет обсуждение, затем две недели Петр работает и, наконец, добивается своего. Этот «честный с собой» негодай доказывает непоследовательность Веры. Как видите, это «идейная работа», это «пропаганда действием». Вера убивает себя, когда над ней издеваются господа, державшие пари.

Причем тут «честность с собой»? Просто цинизм, просто «игра» «в открытую». Об этой новой морали знал Санин, когда говорил офицеру Зарубину: «Я откровенного мерзавца уважаю». Конечно, Мирон и Петр достойны полного уважения Санина и его сподвижника Иванова.

Смешнее всего, что страшные разговоры Мирона приводят к очень мирному, обывательскому концу. Тарас погиб от взрыва, Вера убила себя, Сергей, муж Дары, вероятно, скоро умрет от чахотки, а Дара, полюбившая Мирона, уезжает с ним, без ума влюбленным в нее, из городишка. Санин уезжает один. «Молодые» начнут новую жизнь, из трупа — жизнь, и будет у них детеныш, и откажется Дара от «номера», а Мирон — от профессиональной организации нового класса.

От новой морали Мирона пахнет анархизмом. Каждый по-своему может быть честным с собой — и Тарас с его вечным «это важно», и Мирон с его «не ва-а-жно», и Маруся, и... Азеф, и любой иезуит. Прав и Христос, прав и предатель Его, оба честны с собой. С кем пойдете вы, — это художника не интересует. Но не слишком ли мало быть только «честным с собой» и оставаться человеком без любви и «без девиза».

Отвратительна старая мещанская мораль, построенная на индивидуализме, но еще отвратительнее новая мораль Мирона, построенная на разъединении и на голом зверином инстинкте. Эта новая мораль — переодетая, замаскированная старая мораль.

Жаль только, что г. Винниченке захотелось привлечь к этой новой морали рабочих. Автор всячески выделяет чулочницу Олю, дочь сапожника Дару, полуинтеллигента Мирона и клеймит Кисельских — интеллигентов с их кисельными душами. В этой травле одних и заигрываниях с другими много, быть может, бессознательной демагогии.

Новая мораль построится на солидарности, на единении, на связи, а то, что проповедует Мирон, это — цинизм, а не новая мораль.

Г. О. Миртов куда последовательнее, когда своего золотоволового, яркого Силина, этого веселого и легкомысленного ребенка, под конец все-таки признает мертвым человеком, человеком, в котором нет правды «духа». Но это признание какое-то вымученное, и нет у автора героической искренности г. Винниченко. Слишком любит своего Силина г. О. Миртов, слишком любит его им. Она ничего не простила ссылке и простила все «развлечения» этому истинному сынку миллионера-сластолюбивца.

Теперь скажите же, наконец, можно ли назвать яркую жизнь ту «игру в рулетку», ту «смердяковщину», те «развлечения», ту «новую мораль», о которых говорят Двоекуров, Жорж, Силин, Мирон?

Эта яркость — все та же погоня за острыми наслаждениями, родилась она в поворотное время, в эпоху отчаяния, когда крах души привел к культу тела, когда от аскетического воздержания перешли к необузданному разгулу, когда «бывшие люди» возненавидели «настоящих людей», когда люди «без закона», «без девиза», «без любви» и «без чести» бросили вызов большой любви к женщине и великой любви к родине.

Эпиграфом к этому поворотному времени, темному и злому, могли бы послужить слова «председателя» из драмы Пушкина «Пир во время чумы»:

Итак, — хвала тебе, Чума!
Нам не страшна могилы тьма,
Нас не смутит ее призванье!
Бокалы дружно пеним мы
И Девы-Розы пьем дыханье,
Быть может, полное Чумы!

Уж сколько раз в истории русской общественности чередовались подъем и упадок, как урожайные и голодные годы, как период оживленья и застоя, как могучий разлив полых вод и страшная засуха. Недаром же так любим мы перечитывать роман «Вешние воды» И. Тургенева и рассказ «Река играет» В. Г. Короленко; недаром же чуткий наблюдатель интеллигентских скитаний В. Вересаев пишет за повестью «Поветрие» другую повесть — «На повороте» и после Наташи создает Вареньку.

От увлечения народом и преклонения перед силой масс переходили не раз к разочарованию в народе и преклонению перед своим я.

Пришли «Вешние воды», растет волна общественного подъема, речонка Ветлуга надулась, стала грозной, «река играет», и душа играет у сонного Тюлина, он неузнаваем, он прекрасен и силен, он — герой на час. А потом... усталость, апатия, равнодушие, потом... «так было — так будет».

Когда говоришь о поворотном времени, сменившем эпоху героического подъема, невольно напрашивается целый ряд аналогий, невольно поражаешься сходством с прежними полосами подъема и упадка. Только размах становится все шире и шире.

Мне недавно пришлось перечитывать интересную работу С. А. Венгерова, посвященную критику Дружинину и его поколению, пережившим смену настроений. Дружинин, этот образованный писатель, после смерти Белинского в 1848 г. становится в годы страшной реакции первым критиком и занимает место неистового Виссариона, которого Дубельт мечтал сгноить в «тепленьком каземате». И вот в 1850 году в «Современнике» печатается «Сентиментальное путешествие Ивана Чернокнижникова по петербургским дачам». Описываются шалости и похождения «чудаков», которые разыскивали по газетным объявлениям гувернанток. Серьезного человека, взыскующего высшего града, заменил веселый человек, «шалун», «чудак».

Соль «чернокнижных» шалостей, по словам г. Венгерова, «стояла исключительно в том, что все называлось по имени и притом по возможности часто ...» *

Похождения чудаков зародились в результате литературских бесед. «Какое ничтожество интимной беседы, людей, стоящих во главе литературы своего времени», — читаем мы в упомянутой работе **.

Это была эпоха упадка, эпоха невиданной еще реакции. А потом начинается подъем. Похождения чудаков и пошлейшие шалости прекращаются. Статьи Дружинина во 2-й половине пятидесятых годов становятся такими же серьезными, какими были до 48 года. На четвергах Дружинина закипают иные беседы.

Пришли «Вешние воды», опять «Река играет», опять «вера в жизнь и веянье живого духа». Эту веру в жизнь воплощают в своих статьях Добролюбов и Чернышевский.

Литература поворотного времени тоже пережила свою полосу чернокнижия, игры, баловства и развлечения. У наших чудаков и весельчаков были свои шалости.

* Венгеров С. А. Дружинин, Гончаров, Писемский // Венгеров С. А. Собр. соч., 1911, изд. «Прометей», т. V, с. 9.

** Там же.

Теперь поворотное время на исходе. Опять наступает переломное время, на первом плане не «свой дом» Зинаиды Гиппиус, не «маленький домик» г. Р. Шенталь, не «публичный дом» г. Винниченко с организацией нового класса, не злой город Леонида Андреева, этот зачумленный город уродов, калек, убийц с царем его — Иудой.

«Опять вера в жизнь и веянье живого духа», — писал В. Г. Короленко в половине девяностых годов. «Опять вера в жизнь и веянье живого духа», — хочется повторить и теперь. Мы стоим не «у последней черты», а «у новой черты».

Возня со своими болячками, увлечение проблемой пола, последними заповедями и последними вопросами отходят в сторону с новым десятилетием. Изменяется самое отношение у молодежи и у писателей к похождениям Михайлова.

«Крах души» и «роковая убыль души» выдвинули «культ тела»; пробуждение протеста, общественных настроений, активности выдвигают снова на первый план гордого человека и сильного человека. Герои пола, пришедшие заместить героев общественности, только с поразительной яркостью осветили «пошлость пошлого человека».

Передо мной лежит рукописный журнал учащейся молодежи. Ведут его гимназисты и гимназистки в одном промышленном городе, где о вопросах пола вопиют и улицы, и витрины магазинов, и обертки книг, посвященных «дневникам» всевозможных «массажисток» и «акушеров».

Называется этот юный журнал «Единение и духовная самопомощь». Эпиграф к журналу: «Растите духовно и помогайте расти другим — в этом вся жизнь».

Мало солнечности и яркости видят в своем недавнем прошлом эти рано узнавшие жизнь, почти дети.

«Разочарованные современной пустой и бесцветной жизнью, — читаем мы в редакционной статье, — юноши или уходят из нее, не желая с нею соприкасаться, или пытаются утопить свое горе в разгуле и разврате. Подтачивая ими свое здоровье, притупляя умственные способности, современное наше юношество теряет свой человеческий облик, превращается в животных и все более приближается к вырождению... Теперешнее его состояние есть состояние духовной спячки: все лучшие духовные силы современного юношества покоятся на дне души его, прижатые низменными интересами и стремлениями, накопившимися там по самым разнообразным причинам, о которых здесь говорить не место...» «Но достаточно пробиться лучам ясного

солнышка сквозь застилающий его серый, непроницаемый туман, — и растает, расплзется все то грязное, все то низменное, что накопилось в душах современных юношей».

Редакция верит, что такое время придет, она убеждена, что в это верят и «все юноши, не потерявшие стремления к хорошему». Доказательством того, что такое время уже пришло для некоторых из них, служит содержание всего их сборника.

Жажда красивой, чистой и светлой жизни, человеческой жизни, проходит через все их юные и глубоко трогательные произведения.

Один из юношей, NN., написал повесть «Без заглавия» с указанием, что эта повесть — «наброски с натуры». Это — исповедь единого из малых сих, и к этой исповеди не мешает прислушаться большим. Своей повести автор предпосылает посвящение: «Дорогому другу Поле Г., вырвавшей меня из цепких лап грязи жизни, которая меня глубоко засосала, посвящаю».

Когда вы читаете эту правдивую, до ужаса реалистическую повесть-исповедь, вы чувствуете в каждой строке слезы стыда и боли за прошлое.

«Велика, безгранична власть грязи жизни... И я, стоящий лишь на грани, отделяющей юношу от мужчины, уже испытал силу ее власти... Много-много заставила она меня пережить, много совершил я, под ее влиянием, подлого, преступного, грязного. Много видел я также безнравственного и среди своих товарищей. Заражались друг от друга самыми позорными привычками...» «Вся прожитая мною очень короткая жизнь внезапно встала предо мной неприкрашенная, отвратительная и ужасная в наготу своей... Я ужаснулся той грязи, которую она в себе таила, и, благодаря помощи, оказанной мне моим другом, выбрался из засосавшей меня тины».

Авторы сборника отрицательно относятся к аскетизму, к поведению личного самоусовершенствования. Они любят красивую любовь и посвящают свои повести подруге-девушке.

То, что я цитировал сейчас, это не вымысел, это документ, и документ не единственный и не случайно вырванный наудачу. В этом документе чувствуется зародыш нового.

Мне приходилось неоднократно перед молодой аудиторией цитировать указанный сборник, и я видел, с каким вниманием отнеслись слушатели к юной исповеди. Мне говорили о подобных же документах не раз и, думается мне, художник может собрать уже большой материал. Отмечу, что «Гранатовый браслет» Куприна, посвященный «большой любви», уже идет навстречу

новому течению. Разумеется, этих фактов слишком еще мало, это намеки и предвестия.

Наряду с этой жаждой человеческой, красивой любви к женщине растет великая любовь к родине, растет живой протест, пробуждается к борьбе та молодежь, которую еще недавно отпевали и над которой ставили крест. Молодежь снова первая разбивает лед общественного равнодушия, она первая почувствовала, что в низах нарастает новый огромный подъем. Эта молодежь не обнаруживает дисциплины, но в ней жива вера в жизнь, живо непосредственное чувство, жива жажда новой жизни.

Идут опять «Вешние воды» и опять «Река играет»... Мы знаем, что со многими из юношей будет то же, что с молодым мещанином Петром, который «временно наверх поднялся». Они отхлынут, успокоятся, спустятся вниз к своим отцам Бессеменовым, но лучшие и наиболее стойкие и наиболее кровно связанные с демократическими слоями станут в ряды не обывателей, а борцов. Перед ними, как и перед русской литературой, снова встанет «тема старая» о народе, о демократии. Они почувствуют великую правду некрасовских стихов:

Напрасно говорит изменчивая мода,
Что тема старая страдания народа, —
Не верьте, юноши, не стареет она!..

Сильные и яркие, смелые и обновленные душой, полюбившие жизнь и уверенные в победе, они будут продолжать дело поколения девяностых годов и первой половины прошлого десятилетия. Они пойдут за пролетариатом, который выдвинул уже свою стойкую, сильную интеллигенцию, кровавыми узами связанную с массой.

Эта новая, пролетарская интеллигенция уже взяла на свои плечи и уже выполняет огромную работу. Она окрепла и заговорила в годы повального бегства, в годы тьмы и разъединения, одичания и отчаяния, когда отхлынули «вешние воды» и когда река перестала «играть». Она вышла из массы, а не пришла в массу. О настроениях ее красноречиво говорят стихи и статьи «писателей-самоучек», ее журналы, ее неустанная энергия. Она прекрасно начинает сознавать свою роль в будущем и те услуги, которые сможет ей оказать приходящая к ней во время подъема революционно-демократическая интеллигенция. Не от «внешних вод» до «вешних вод», а путем постоянной и неустанной борьбы, без приспособлений и без отказа от девизов пойдет эта пролетарская интеллигенция вместе с массой к своему «Ханаану золотому», к «блистательной заре неведомой весны», повто-

рая в своей душе прекрасные слова одного из «писателей-самоучек»:

Мы идем! Неустанно идем.

Пессимисты по инерции, пессимисты, ушедшие в свой шкурный пессимизм, как в раковину, как чеховский учитель Беликов — в футляр, конечно, «не верят уверениям» и ничего не ждут. Они только усмеваются в ответ на призывы к жизни, твердят свое «тарарабумбия»... Пусть их. Взгляни — и мимо! Они уже мертвы, их убила «дьявольская религия безверия», их завожили страшные глаза Елеазара. Их песенка спета.

Но те, чья «воля пурпурна», для кого жизнь — это «буйный трепет сил», для кого жить — это «отдать с весельем жизнь свою» — те знают, что мертвая полоса уже пройдена, они почувствовали это раньше нас, сомневающихся и слишком благоразумных. Они вынесли свой протест против «мертвой петли» на улицу, они заклеили с возмущением мертвые слова современных Архимедов в вицмундире, «изнемогающих» в борьбе, они идут в места не столь отдаленные со щитом и с девизом.

Они знают, что начался новый период, что у поворотного времени есть свое поворотное время.
